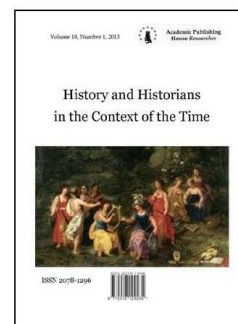


Copyright © 2014 by Academic Publishing House *Researcher*



Published in the Russian Federation
History and Historians in the Context of the Time
Has been issued since 2014.
ISSN: 2078-1296
Vol. 12, No. 1, pp. 48-54, 2014

DOI: 10.13187/issn.2078-1296
www.ejournal3.com



UDC 94(470) «1931/1939»:81-1

“Declarations of Emotional Independence” in Soviet Poetry in the 1930s: A Historical-Sociological Analysis *

Irina G. Tazhidinova

Kuban State University, Russian Federation
Kuban Naberezhnaya street, 4. Krasnodar city, 350063
PhD (History)
E-mail: tajidinova@yandex.ru

Abstract. The turn to the cultural-anthropological dimension of the past leads to re-evaluation of the significance of literature as a historical source. The article brings to light the potential of lyric poetry for the study of the emotions of the man of the 1930s and the history of the Soviet everyday. The work analyzes the verses of young poets (P. Kogan, N. Mayorov, and N. Ovsyannikov), which can be treated as “declarations of emotional independence”. In them, the authors declaim against hypocrisy and asexuality, which were being cultivated in Soviet society, and advocate for freedom of expressing emotions – above all, love feelings.

Keywords: historical anthropology, history of emotions, the Soviet everyday, poets in the 1930s, personal independence, love, freedom of expressing one’s emotions, external and internal censorship, hypocrisy, asexuality.

Введение.

Произведения художественной литературы, прежде использовавшиеся историками и социологами в качестве эмпирического материала редко и иллюстративно, в современных исследованиях фигурируют не в пример чаще, анализируются глубже [1]. Переоценка их значения связана с поворотом к культурно-антропологическому измерению прошлого и признанием того, что существуют темы, которые не могут быть достаточно полно раскрыты без обращения к художественным текстам. Тема интимных переживаний человека сталинской эпохи тяготеет к такого рода разработке в числе первых, ибо тем самым создаются новые возможности понимания этого сложного периода советской истории и жизни человека внутри него. В частности, историко-социологический анализ поэзии предвоенного десятилетия содержит огромный потенциал для исследования эмоциональной сферы советского общества, различных аспектов истории советской повседневности. С одной стороны, доступен объемный пласт лирической поэзии, занимавшей доминирующие, в высшей степени прочные позиции, поскольку, в соответствии с идеологией советского государства и при его непосредственной поддержке (публикации, премии и пр.), его представителями транслировались в массы однозначные, до миллиметра выверенные стандарты поведения. С другой стороны, если и не особняком, то несколько в

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 14-01-00239а «Чувства под контролем: повседневность провинциального города 1920-1930-х гг. в ракурсе культурной истории эмоций».

стороне держались авторы, умеренно полемически отстранявшиеся от «столбовой дороги», нащупывавшие свой индивидуальный (нестандартный для рассматриваемого времени) путь к читателю. Примечательно, что поэтами из этого ряда в 1930-е гг. создавались произведения, которые могут расцениваться как своего рода «декларации эмоциональной независимости». Потребность специально провозглашать свободу эмоций, очевидно, вытекала из условий существования в сталинском СССР, вполне типичных для большинства населения продвигавшегося к «социальной однородности» общества. Проанализировав формы поэтического выражения данной потребности, мы, с большой степенью вероятности, приблизимся к пониманию душевных коллизий, которые довелось пережить советским людям в один из самых тяжелых периодов истории страны в XX веке.

Обсуждение.

Вообще проблемы литературной эволюции обозначились еще на рубеже 1920–1930-х гг., что в полной мере коснулось выражения интимной проблематики в советской поэзии. Предвоенное десятилетие стало временем ее притеснения и вытеснения. Если говорить о лирической поэзии, то самой серьезной потерей этого десятилетия стал отказ от отображения личностной сущности любви. Поскольку внимание к личному пространству противоречило эстетике большого стиля, а поиски любви или устройство личной жизни не являлись двигателями сюжета в культуре соцреализма, постольку подобного рода категории и мотивации «вытаскивались» и из поэзии. В 1930-е гг. советская лирика уступила еще не так давно числившееся за ней жанровое первенство прозе и продемонстрировала тенденцию к песенности. Как раз в песенном творчестве ее потери видны наиболее рельефно. По заключению Наума Коржавина, мажорные песни сталинской эпохи положили начало «традиции безличной лирической песни», даже целому жанру «песен не про свою любовь». В этом смысле интересными представляются размышления Коржавина о сущности знаменитой песни «Сердце», исполненной Леонидом Утесовым в фильме Г. Александрова «Веселые ребята» (1934 г.). Напомним строки припева этой песни:

Сердце, тебе не хочется покоя!

Сердце, как хорошо на свете жить!

Сердце, как хорошо, что ты такое!..

Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!

Выявляя то «доличностное или внеличностное представление о любви», которое заложено в песне «Сердце», Коржавин видит в ней одно из тех «защитных прагматических мероприятий власти, препятствующих пониманию реальности», которые постепенно сложились в «гигантскую кампанию по инфантилизации населения». Глобальная задача такого рода песен определялась ситуацией начала 1930-х гг., когда «ложное положение режима не прекратилось, а только усугубилось с завершением коллективизации и первой пятилетки. Нужда создавать в сознании подданных мир, отличный от реального, не отпадала, а нарастала. И песни из этого фильма не только продолжали выполнять эту задачу, но стали образцом для создания целого безличного вида искусства, безразлично, гражданских или лирических тем оно касалось». Так рождалась традиция безличной лирической песни. Коржавин даже выделяет в ней специфический жанр – «песни не про свою любовь». Но, и в целом, из лирики изымаются индивидуальное чувство, «откровение», катарсис подменяется имитацией духовной деятельности. Власть же выступает в своей разрешительной ипостаси. Коржавин в горько-ироничной манере восстанавливает извращенную логику маневра и его печальные последствия: «...любить-то ведь и в самом деле хорошо. Что поделать, если сердце настолько неугомонно – хочет этого. Даже власть уступает, понимает – вон как поют с экрана! Хорошая все-таки власть, своя. Отвлеклась от таких важных дел и – поняла: разрешила человеку его маленькое счастье. В благодарность забывалось, что табу на это маленькое счастье накладывала она же. И больше – что оно не маленькое. И не должно быть маленьким, поскольку у каждого оно, как жизнь, – одно. Забывалось. Такова сила казенного искусства» [2].

Другое серьезное изменение состояло в исчезновении из поэзии эротики. Если обстановка в России 1920-х гг. характеризовалась временным ослаблением культурных табу (как последствием сексуальной революции), что стимулировало творческое воображение поэтов и предопределило эротическую насыщенность поэзии, то к началу 1940-х гг. эта

линия оскудела и практически сошла на нет. В качестве примера эволюционных изменений можно привести содержательное различие двух специальных антологий на авиационные темы, появившихся в СССР с шестнадцатилетним промежутком – в 1923 г. и 1939 г. Юрий Левинг, исследовавший трансформации так называемого «авиационного текста» в советской поэзии от 1920-х гг. к 1930-м гг., обратил внимание на замену сильнейшего эротического заряда, характерного для первого сборника («Лёт»), доминантой сдержанной асексуальности авиационных текстов второго («Сталинские соколы»).

Дело в том, что тема авиации и полета, связанная с идеей покорения пространства (небесного и земного), и, таким образом, созвучная раннесоветской идее завоевания пролетариатом всего мира, вызывала у советских поэтов 1920-х гг. неизбежные маскулинные коннотации, мотивы завоевания женщины и обладания ею. На исходе 1930-х гг. использование данной парадигмы стало невозможным, как в силу цензурных ограничений, так и в связи со сменой норм художественной эстетики. Как отмечает Левинг, качественные перемены в советской военной авиации, формирование ее концепции нуждались в идеологической поддержке, которая ожидалась, в том числе, и со стороны искусства. Кроме того, в середине предвоенного десятилетия обозначилась важнейшая веха в советской авиационной эмансипации (беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток женского экипажа в составе В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко и М.М. Расковой в 1938 г.). Итогом стало снятие латентной сексуализированности авиационной темы, когда «пилот с ярко выраженными маскулинными признаками постепенно исчезает из авиационных текстов, в них начинают доминировать сдержанная асексуальность и стремление к равенству полов». В общем, можно констатировать, что в поэзии, где гендерные признаки намеренно сглаживались, нивелировались, была дана установка на «другую» любовь – «любовь, которая превыше всех земных любовей, – к Родине-Матери» [3].

Рассматривая советскую лирику периода 1941–1945 гг., мы уже отмечали эту «замену», с неизбежностью закрепленную войной [4]. Пока же, на пороге войны, наиболее приемлемой формой выражения интимных переживаний для поэтов «средней руки» либо начинающих выступала та, что находилась в границах дозволенного. Попробуем обозначить ее дух как «терпимость к интимному». Суть этой формулы, если и не гарантирующей успех у читателей, то уж, по крайней мере, отвечавшей требованиям советской цензуры, заключалась, в частности, в неспецифическом преподнесении темы любви, когда она помещалась в ряд других, по определению, равнозначных эмоций.

Примером может служить абсолютно невинное стихотворение Всеволода Багрицкого (сына известного поэта Эдуарда Багрицкого) «Ты помнишь дачу и качели...», в котором чувство к женщине не выделяется в нечто особенное, а приравняется к иным: упоению природой, привязанности к матери.

<...> Не понимая, что влюбился
 Не в девушку, а в тишину,
 В цветок, который распустился,
 Встречая летнюю луну...
 Я был влюблен в печальный рокот
 Деревьев, скованных луной,
 В шум поезда неподалеку
 И в девушку, само собой [5].

Как видим, автор, которому было на тот момент девятнадцать лет, демонстрирует столь свойственную юношескому возрасту тотальную влюбленность во все, в том числе и в девушку. Пожалуй, в этом стихотворении представлена образцовая норма в преподнесении темы любви, так как игривость, фривольность, а тем более, страсть и эротика уже, мягко говоря, не приветствовались. Отсюда – та объяснимая странность, что наивные и осторожные стихи о любви появлялись не только у безусых юношей, но и у взрослых и даже зрелых мужчин-поэтов.

Отказ от изображения личностной сущности любви или эротической ее составляющей, вообще сильных индивидуально окрашенных эмоций имел разные «преломления». Одним поэтам он дался без особого труда, и тема эмоционального самовыражения в любви просто-напросто испарилась из их творчества; точнее, ее заменила гражданская лирика. Другие же

предпринимали (сознательно или неосознанно) некоторые маневры, которые должны были расчистить дорогу личному чувству, легитимировать его. Примечательно, что подобные маневры обнаруживаются у неординарных поэтов из числа молодых, чья биография в недалеком будущем трагично оборвется на фронтах Великой Отечественной войны. Одной из главных фигур этой плеяды был Павел Коган, чья «декларация эмоциональной независимости» оказалась самой ранней. Она «поступила» в 1934 г. от 16-летнего поэта и звучала так:

Я привык к моральям вечным.
 Вы болтаете сегодня
 о строительстве, конечно,
 об эпохе и о том, что
 оторвался я, отстал и...
 А скажите – вы ни разу
 яблоки не воровали?
 Вы швырялись камнями,
 падали, орали песни,
 матерились так, что жутко,
 и орали: «Колька, тресни!!»?
 Вы купались ли в апреле,
 вы любили ль ночью звезды,
 синий дым, снежок и галок,
 и морозный крепкий воздух?
 А когда вы стали старше,
 вы девчонок целовали?
 Или это не влезает
 в ваши нудные морали? <...> [6]

Стихотворение Павла Когана можно было бы принять за всплеск юношеского максимализма, если бы не тот социальный контекст («строительство», «эпоха»), в противостоянии которому отстаивает автор свое личное пространство, свое представление о счастье. Следует обратить внимание на высказывание от первого лица и жесткое противопоставление дважды прозвучавшего «я» многократно повторяемому «вы». Согласно канонизированному в рамках советской педагогики А. Макаренко (начиная с 1930-х гг., именно его труды составили каноническое ядро трудов по исследованию коллектива), коллектив как «целеустремленный комплекс личностей» является организованным и связанным воедино отношениями «ответственной зависимости» [7]. Покушение Когана на эту «зависимость» выразилось в том, что, обращаясь на «вы» якобы ко всем (к общности в целом), он в то же время дробит целостность на «личности», так как спрашивать о краже яблок или поцелуях можно только конкретных людей. Последнее важно в связи с обращением к двум другим стихотворениям-декларациям, появившимся уже на исходе 30-х гг. (предположительно, в 1938–1939 гг.). Их авторы активно использовали местоимение «мы», но, что характерно, не вполне последовательно; то отождествляя себя с этим «мы», то категорично отмежевываясь от него, поэты Николай Майоров и Николай Овсянников тонко балансировали на грани «самообвинения» и «обвинения», предъявлявшегося устоям современного им общества. Трудно сказать, была такая тактика преднамеренной или нет, но, похоже, она позволяла ускользать от обвинений в неприятии моральных основ жизни в советском социуме.

Вообще использование местоимения «мы» широко распространено в советской лирике 1930-х гг., что, между прочим, дает основание исследователям опознавать «Мы» как настоящего лирического героя предвоенного десятилетия [8]. Казалось бы, такую практику можно было бы рассматривать как творческую норму, так как, согласно извлеченному из толковых словарей значению личного местоимения «мы», оно может употребляться «...вместо “я” в обращении одного лица ко многим в авторской речи (Авторское “мы”» [9]. Однако «мы» в произведениях советских поэтов 30-х гг. употребляется в иных контекстах, и с учетом масштабов этого явления, а также исторических коллизий сталинской эпохи логичнее объяснить усиление присутствия соответствующей лексики и мотивов в поэтических текстах как прямое следствие торжества коллективизма в СССР предвоенных

лет. Также отметим, что, судя по стихотворениям Майорова и Овсянникова, данная практика могла применяться с необычной целью. А именно: весомое «Мы» буквально вытягивало на себе тему личного, частного, в том числе чувственного.

Наиболее ярким примером представляется стихотворение Николая Майорова (который, кстати, был автором знаменитого стихотворения «Мы») «Предчувствие» [10], где многократно, на всем его протяжении употребляется исключительно местоимение «мы», и, следуя контексту и логике, это позволяет считать, что автор отождествляет себя с современниками (советскими людьми образца 30-х гг.), выступающими обобщенным героем данного произведения. Однако критический пафос стихотворения настолько силен и лично окрашен, что заставляет усомниться в этой, казалось бы, безусловной принадлежности, а еще – в полной мере прочувствовать горькую авторскую иронию.

«Предчувствие» Майорова отражает глубоко личную позицию автора, хотя, безусловно, специфика коллективизма «по-советски» и наложила на нее неизгладимую печать. В результате употребление «мы» явилось той уловкой, которую подчеркнуто недипломатичный поэт (свидетельства такой позиции Майорова можно найти во многих его произведениях) интуитивно или намеренно применил для «выведения» критичного по отношению к официально санкционированной ситуации (унификация лирики, игнорирование в ней эротики, табуирование темы секса) стихотворения «в люди». Неприязнь поэта к быту, мещанскому уюту, несомненно, присутствующая в стихотворении, представляет собой лишь фон для основной линии, на которой фокусируется Майоров. Гораздо более выражены его претензии к асексуальности, культивируемой в советском обществе. В этом смысле пафос задается уже первой вопрошающей строкой стихотворения: «Неужто мы разучимся любить...» Следующие строки привлекают внимание к телесной составляющей любви: «И будем принимать за женщину мы шкап / И обнимать его в бесполом безразличье». Ощущение вины перед последующими поколениями заставляет Майорова выдвигать прямые прогнозы-упреки: «Кастратами потомки назовут / стареющее наше поколенье», «Нами был утрачен / Сан человеческий; что, скопцы...», «Нам это долго не простится, / И не один минует век, / Пока опять не народится / Забытый нами Человек». Даже демографическое пророчество «без жалости нас время истребит», видимо, предупреждает об этих предчувствуемых поэтом последствиях «бесполого безразличья». Таким образом, игнорирование значения телесного (телесной стороны отношений между полами), согласно Майорову, ведет к потере истинно человеческого и катастрофе в будущем.

Сходные с майоровскими мотивы находим в стихотворении Николая Овсянникова «Во славу твою» [11]. Стихотворение начинается сетованиями героя на собственную бесчувственность («Не кричим, не мечемся, не любим, / Сердце – камнем...»), которая, на самом деле, есть диагноз уже вполне устойчивой нерасположенности чувствовать, поразившей его современников (здесь используется «мы»). Однако далее стихотворение превращается в гимн достигнувшей героя страстной любви, которая, даже будучи несчастливой, лучше любви «вегетарианской». И здесь герой начинает говорить от своего лица. Им остро ощущается угроза внешнего вмешательства в отношения двоих («Никогда не перестану славить! / Пусть сомнут, сломают, раздробят...»). Но ценность отношений с героиней – вне конкуренции с чем бы то ни было, в том числе и с общественным. О такой расстановке приоритетов говорят как конкретные строки («Если скажешь песню обезглавить, / Песню обезглавлю для тебя»), так и сам выбор названия для стихотворения.

Когда представители поэтической молодежи писали и публично читали подобные стихи на студенческих секциях или литературных вечерах (до печати у большинства из них дело так и не дошло, максимум – случались публикации в университетских многотиражках), то в этом проявлялись юношеский максимализм и сила личных любовных переживаний. В ответ на упреки в излишней натуралистичности и цинизме Майоров отвечал: «Какой же цинизм? Я так любил... Я чувствую так, как чувствует здоровый человек, со всеми его инстинктами» [12].

Заключение.

Итак, нами были рассмотрены стихотворения, представлявшие собой своего рода отклонения от советского лирического мейнстрима предвоенной поры. Это «декларации эмоциональной независимости» Николая Майорова, Павла Когана и Николая Овсянников

– поэтов, вышедших из первого поколения советской молодежи (и погибших на фронтах Великой Отечественной войны в одном и том же году – 1942-ом), но, тем не менее, демонстрировавших в 1930-е гг. критический настрой относительно некоторых моральных устоев советского общества (лицемерия, асексуальности), а главное – эмоциональной несвободы человека в нем.

Проведенный анализ подтверждает, что установки контроля и самоконтроля над эмоциями, под влиянием веяний сталинской эпохи проникавшие в поэтическую среду и закреплявшиеся в ней, были «органичны» далеко не всем поэтам, и даже вызывали протестные настроения. Так, подмена вектора любовного отношения (вместо чувственной любви к женщине любовь к Родине-Матери) прижилась отнюдь не повсеместно, и сложнее всего – именно среди молодых поэтов (как называл их Василь Быков, «поколение убитых», почти сплошь скошенное войной). Собственное индивидуальное чувство требовало выхода, и в самых ярких своих проявлениях (творчество П. Когана, Н. Майорова, Е. Ширман) лирические поэты добивались права на личное счастье (под которым чаще всего подразумевалось самовыражение в любви) для всех советских людей. Определенный исследовательский интерес может быть направлен к тому, чтобы выяснить, каким образом поэтам удавалось декларировать свою личностную независимость, свободу выражения эмоций, несмотря на складывавшуюся ситуацию тотального табуирования «человеческого». Можно прогнозировать все более активное привлечение поэтических текстов в качестве источников для исследования антропологической проблематики, истории советской повседневности. Как выразительный и многослойный источник, лирика представляет особый интерес для такого интенсивно развивающегося в последние годы направления как история эмоций.

Примечания:

1. Крылова А. Советское личное: «семейно-бытовая» тема в предвоенной советской литературе // Соцреалистический канон. СПб., 2000. С. 503–512; Кукулин И. Регулирование боли (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970-х годов) // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3. С. 324–336; Сенявская Е.С. Литература фронтового поколения как исторический источник // Отечественная история. 2002. № 1. С. 101–109; и др.
2. Коржавин Н. «О том, как веселились ребята в 1934 году, или Как иногда облегчает жизнь высокий этический принцип: «Важно не “что?”, а “как?”» // Вопросы литературы. 1995. Вып. 6. С. 48, 50, 52.
3. Левинг Ю. Латентный Эрос и небесный Сталин: о двух антологиях советской «авиационной» поэзии // Новое литературное обозрение. 2005. № 76. С. 144, 145, 156, 157.
4. Тажидинова И.Г. Любовь военного времени: опыт историко-социологического анализа лирической поэзии периода Великой Отечественной войны // Личность. Культура. Общество. 2009. Т.11. Вып.3 (№50). С.439–450.
5. Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. СПб., 2005. С. 69–70.
6. Имена на поверке: Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. М., 1975. С. 113.
7. Платонов К.К. Коллектив и личность. М., 1975. С. 34.
8. Сухих Н.И. От стиха до пули // Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. СПб., 2005. С. 23–38.
9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 371.
10. Датировка 1939 г. находится под вопросом. См.: Сквозь время: Стихи поэтов и воспоминания о них. М., 1964. С. 148.
11. Датировка 1938 г. находится под вопросом. См.: Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. СПб., 2005. С. 326.
12. Куликов Б. Николай Майоров. Ярославль, 1972. С. 41.

References:

1. Krylova A. Sovetskoe lichnoe: «semeino-bytovaya» tema v predvoennoi sovetskoj literature // Sotsrealisticheskii kanon. SPb., 2000. S. 503–512; Kukulin I. Regulirovanie boli

(Predvaritel'nye zametki o transformatsii travmaticheskogo opyta Velikoi Otechestvennoi / Vtoroi mirovoi voiny v russkoi literature 1940–1970-kh godov) // Neprikosnovennyi zapas. 2005. № 2–3. S. 324–336; Senyavskaya E.S. Literatura frontovogo pokoleniya kak istoricheskii istochnik // Otechestvennaya istoriya. 2002. № 1. S. 101–109; i dr.

2. Korzhavin N. «O tom, kak veselilis' rebyata v 1934 godu, ili Kak inogda oblegchaet zhizn' vysokii eticheskii printsip: «Vazhno ne “что?”», a “как?»» // Voprosy literatury. 1995. Vyp. 6. S. 48, 50, 52.

3. Leving Yu. Latentnyi Eros i nebesnyi Stalin: o dvukh antologiyakh sovetskoi «aviatsionnoi» poezii // Novoe literaturnoe obozrenie. 2005. № 76. S. 144, 145, 156, 157.

4. Tazhidinova I.G. Lyubov' voennogo vremeni: opyt istoriko-sotsiologicheskogo analiza liricheskoi poezii perioda Velikoi Otechestvennoi voiny // Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo. 2009. T.11. Vyp.3 (№50). S.439–450.

5. Sovetskie poety, pavshie na Velikoi Otechestvennoi voine. SPb., 2005. S. 69–70.

6. Imena na poverke: Stikhi voinov, pavshikh na frontakh Velikoi Otechestvennoi voiny. M., 1975. S. 113.

7. Platonov K.K. Kollektiv i lichnost'. M., 1975. S. 34.

8. Sukhikh N.I. Ot stikha do puli // Sovetskie poety, pavshie na Velikoi Otechestvennoi voine. SPb., 2005. S. 23–38.

9. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyi slovar' russkogo yazyka. M., 2003. S. 371.

10. Datirovka 1939 g. nakhoditsya pod voprosom. Sm.: Skvoz' vremya: Stikhi poetov i vospominaniya o nikh. M., 1964. S. 148.

11. Datirovka 1938 g. nakhoditsya pod voprosom. Sm.: Sovetskie poety, pavshie na Velikoi Otechestvennoi voine. SPb., 2005. S. 326.

12. Kulikov B. Nikolai Maiorov. Yaroslavl', 1972. S. 41.

УДК 94(47) «1931/1939»:81-1

«Декларации эмоциональной независимости» в советской поэзии 1930-х гг.: историко-социологический анализ

Ирина Геннадьевна Тажидиноva

Кубанский государственный университет, Российская Федерация

350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 4.

Кандидат исторических наук

E-mail: tajidinova@yandex.ru

Аннотация. Поворот к культурно-антропологическому измерению прошлого ведет к переоценке значения художественной литературы как исторического источника. Статья раскрывает возможности лирики для исследования эмоциональных переживаний человека 1930-х гг., истории советской повседневности. Анализируются стихотворения молодых поэтов (П. Когана, Н. Майорова, Н. Овсянникова), которые могут рассматриваться как «декларации эмоциональной независимости». В них авторы выдвигают претензии к лицемерию и асексуальности, культивировавшимся в советском обществе. Они выступают за свободу выражения эмоций, прежде всего, любовного чувства.

Ключевые слова. Историческая антропология, история эмоций, советская повседневность, поэты 1930-х гг., личностная независимость, любовь, свобода выражения эмоций, внешняя и внутренняя цензура, лицемерие, асексуальность.